

Алексей Притуляк



Узник №8

Несвобода неволи

Алексей Притуляк

Узник №8

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Притуляк А.

Узник №8 / А. Притуляк — «ЛитРес: Самиздат», 2017

Его номер 8, а что такое цифра восемь, как не тот же знак бесконечности, только поставленный вертикально. Его номер - бесконечность. И в этой бесконечности у него нет ничего, кроме несвободы неволи. Он даже не знает, идёт ли на улице дождь. Но этого не знает и ангел, живущий в стене.

Содержание

№1	5
№2	12
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Прежде чем спрашивать у Него, сколько тебе осталось, подумай, какой смысл ты вкладываешь в это слово. Ведь может статься, тебя давно уже нет.

Иероним фон Лидовиц, Размышления о пустоте.

№1

Он напрягся, замер, задержал дыхание. И только рука его, подрагивая, медленно-медленно приближалась к стене.

Скоро он обязательно умрёт, если не сдастся, не сломается, не перестанет быть собой. Смерть его будет ужасна.

«Как будто смерть бывает не ужасна...»

Пальцы подрагивали волнующим нетерпением. Приблизившись к шершавой, грубо оштукатуренной поверхности, рука замерла на мгновение, а потом плавно двинулась вдоль стены. Отпущенное дыхание участилось. Живот подвело.

«Как будто смерть бывает не ужасна...»

Смертельно хотелось спать. Казалось бы, куда ещё спать – ведь он и так целый день только и делает, что спит. Если не читает. Или не ест.

Рука сделала стремительное движение.

– Есть! – воскликнул он. – Есть, есть, есть! Четыре два. Четыре два, понятно?

В поднесённом к уху кулаке ничего не было слышно. Но кожей он ощущал слабые движения пойманной мухи.

– Четыре два, муха.

Он так радовался, будто счёт был в его пользу, но на самом деле выигрывала муха. Она всегда выигрывала. Даже когда ненадолго делала вид, что намерена проиграть, она всё равно выигрывала.

Взгляд его упал на фотографию, стоящую на книжной полке. Добрые глаза женщины следили за ним с задумчивой укоризной.

– Да, – сказал он, смущённо отводя взгляд, – да, я знаю. Я не имею права лишать свободы, коль скоро сам лишён её и потому знаю её подлинную цену. Никто не знает цену свободы так, как знаю её я. Боже, боже, но как отчаянно хочется жить, жить со всей полнотой!

Его негромкий голос рассыпался, ударяясь о стены камеры с облезлой штукатуркой, рассыпался и осыпался пылью, падая на цементный пол, сползал по стене разбитым яйцом, а может быть, стекал по ней слезами.

Скрипучий топчан в одном углу, унитаз в другом, книжный стеллаж у стены, прикроватная тумбочка с двумя табуретами и вонь – вонь плесени, которая мешается с запахами кухни, доносящимися откуда-то, с острым запахом прокисшего унитаза и душным – его собственного пота. Окно, расположенное над топчаном на уровне двух человеческих ростов, никак не способствовало освежению затхлой атмосферы, потому что было нарисовано. Он сам нарисовал его. Однажды набрался смелости, выпросил у надзирателя немного коричневой и синей масляной краски и нарисовал это окно – решётку, а в промежутках синее небо. Вышло не очень правдоподобно, но, в конце концов, в его ли условиях гоняться за правдоподобием, когда вся жизнь, кажется, лишилась его в один какой-то жуткий момент.

Заключённый, в своей напоминающей пижаму полосатой робе, с большой чёрной цифрой 8 на фоне квадрата некогда белой, а теперь грязной материи, выглядел внутри этой камеры, как обречённый зародыш, медленно погибающий в нездоровой матке.

Муха щекотала лапками его ладонь, пыталась вырваться из заключения. Узник некоторое время держал кулак возле уха и прислушивался.

– Бог мой, как отчаянно хочется жить! – воскликнул он через минуту. – Муха, слышишь, муха, мне, твоему богу, жить хочется ничуть не меньше, чем тебе. Должен ли я сделать из этого вывод, что моему богу тоже хочется жить не меньше, чем мне? Вопрос... Как грустно, должно быть, тебе сознавать, муха, что твой бог – всего лишь узник. Это ужасно – иметь такого не всемогущего бога, не так ли? Каким трижды ничтожеством чувствуешь себя, когда ничтожен твой бог, правда, муха? Впрочем, ты и есть ничтожество. А я – твой бог. Но отчего же ты такое ничтожество, такая тварь? Ведь я, твой бог, совсем не такой!

Он с силой и ненавистью сжал кулак и почувствовал кожей лёгкое сопротивление хитина, а потом скользкую влажность, брызнувшую из раздавленного насекомого. Чему-то усмехнувшись, тщательно вытер ладонь о полосатые штаны.

– Что поделаешь, – задумчиво произнёс он, – бог бывает иногда жесток, взбалмошен, несправедлив... *Ecce Deus*.¹

Рассмотрев ладонь и убедившись, что на ней не осталось ни следа убиенной мухи, он подошёл к топчану, устало присел на него, вздохнул:

– Ужасно хочется спать... Не стоило мне убивать её, не так уж много она грешила. Но с другой стороны, как бы она знала, что я бог? Как бы она уверовала в меня, на основании чего?.. Надо будет попросить у надзирателя новую муху... Кажется, на улице всё ещё идёт дождь... Да, похоже, всё ещё идёт дождь... Или нет? Впрочем, так ли уж это важно для меня?.. Конечно! Ведь от того, идёт ли сейчас дождь, зависят виды на урожай... Эй, тюремщик! – крикнул он, оборотившись к двери.

Никто, конечно, не услышал его, никто не отозвался. Тогда он с трудом поднялся с топчана, прошаркал до двери и уже совсем было решился постучать, но в последний момент рука его дрогнула от мелькнувшего в голове воспоминания о последней расправе, которую устроил ему надзиратель. Тогда он прижался щекой к закрытому глазку, вделанному в дверь, чтобы подсматривать за ним, и закричал во всю мочь: «Эй, тюремщик!» Он знал, что надзиратель всегда сидит за дверью, на старом скрипучем табурете – курит трубку, играет с сыном в шахматы или пьёт пиво, или просто дремлет.

– Эй, тюремщик!

Его голос пытался впиться в металлическую обивку двери, царапался в неё, как попавший в клетку зверь, дрожал, прежде чем снова разбиться о стены. Но, кажется, он был наконец-то услышан.

Загремел засов, дверь открылась, пропустив внутрь камеры слабый желтушный свет из коридора. За порогом выросла фигура надзирателя – полноватая, ссутуленная усталостью, которая даже лицо его с обвислыми усами делала каким-то расплывчатым, нечётким, будто ты смотришь на него сквозь матовое стекло или через мутную воду. В руке он держал наготове дубинку хмурого вида, если только предмет может иметь хмурый вид. За спиной надзирателя узник увидел любопытное мальчишеское лицо. Это был сын надзирателя, лет пятнадцати, кажется, но не по возрасту взрослый и серьёзный.

– Вы будете бить его, отец? – спросил отрок. – Можно я стану смотреть?

Надзиратель даже не обернулся, его взгляд упёрся в узника двумя кинжалами, представленными к горлу.

– Как ты меня назвал, узник?

Усталый голос его прозвучал как будто даже мягко.

– Я только хотел узнать, идёт ли на улице дождь, – отозвался узник, предчувствуя недоброе и робея.

– Как ты меня назвал, сволочь?

– Это даже я слышал, отец, – вмешался из-за двери надзирателев сын. – Он назвал вас...

¹ *Ecce Deus* – се Бог (*лат.*)

- Заткнись! – перебил его надзиратель.
- Я только хотел узнать... – промямлил узник, но надзиратель не дал ему договорить:
- И ты заткнись!

Узник умолк, испуганно отступил на шаг, на всякий случай прикрывая голову рукой. Надзиратель не имел привычки особо разбираться, куда наносит удары, а в запале мог и убить, попади он нечаянно по виску. Дубинка у него была небольшая, но дубовая и достаточно тяжёлая. Такой, вероятно, даже голову размозжить особого труда не составит.

– Ты специально издеваешься надо мной, да? – проговорил надзиратель, наступая. – Триста восемьдесят шесть раз я говорил тебе, что обращаться ко мне следует «господин надзиратель», и триста девяносто восемь раз ты называешь меня тюремщиком, будь ты проклят!

- Нет, триста восемьде... – хотел было поправить узник, но надзиратель не дослушал его.
- Ах ты скотина!

Дубинка взметнулась вверх, готовясь обрушиться на голову, или на ключицу (которую сломала бы одним ударом), заставляя узника накрыть голову теперь уже обеими руками и в испуге присесть.

- О, мой бог, простите меня, простите! – невольно крикнул заключённый.

Надзиратель остановился.

– Как ты меня назвал? – спросил он, всматриваясь в испуганное лицо узника. – Твой – кто?

- Простите, простите меня, господин тюре... – простонал узник, – господин надзиратель.
- Тюре? – вспыхнул тюремщик. – Тюре?!

Первый удар пришёлся по запястью руки, обхватившей голову.

– Ах ты дрянь! – прохрипел надзиратель, нанося следующий удар. – На вот тебе!.. – Удар. – Запомнишь ты когданибудь? – Удар. – Надзиратель, – Удар. – Надзиратель! – Удар. – Надзиратель, скотина!

И снова удар, которого узник уже не выдержал – повалился на серый цементный пол.

– Отец, можно мне? – спросил мальчишка, увлечённо следя за расправой. – Можно мне, отец? Ведь вы говорили, что пора бы уже мне потихоньку осваивать будущую профессию.

Надзиратель не обратил на сына никакого внимания, он был слишком увлечён экзекуцией и, наклонясь над упавшим узником, продолжал наносить удар за ударом. Впрочем, лицо его не выдавало ни злобы, ни раздражения – оно было скорей добродушно, несмотря ни на гневные слова, ни на удары, ни на сбившееся дыхание. И только жёсткий выдох «Ххха!» сопровождал каждый наносимый удар, заглушая звук соприкосновения твёрдой древесины с мягкой и хрупкой плотью человеческой.

Тот, кого тюремщики никогда не били дубовой палкой по голове, по пяткам, или, на худой конец, по рукам, вряд ли поймёт, насколько это малое удовольствие для избиваемого, насколько это неприятная обязанность для любого надзирателя и насколько это интересное и зрелищное мероприятие для сына любого из надзирателей.

Между тем, надзиратель не остановился даже тогда, когда узник перестал кричать и только изредка издавал протяжные и всё более тихие стоны. Бить лежащего дубинкой было неудобно, и тогда в ход пошли ноги. Ноги в тяжёлых кирзовых ботинках с набойками тоже способны наносить весьма болезненные удары по рёбрам, по почкам да и, в общем-то, по голове.

- Можно мне, отец? – мальчик решил ступить в камеру, но подойти не осмелился.

Услышав сына, надзиратель словно пришёл в себя. Он вдруг прекратил расправу и отступил от безмолвно распростёртого узника, присматриваясь к его лицу – жив ли, дышит ли.

Кажется, дышит.

– Ну что, теперь-то ты, скотина, усвоил, кто я? – спросил он, отирая рукавом проступивший на лбу пот.

– Не стоило... убивать меня... господин надзиратель, – отозвался узник слабым затухающим голосом, который всё больше замирал на каждом следующем слове. – Не так уж сильно я... грешил... Но с другой стороны... с другой стороны, как бы я знал, что... вы – бог? Да, как бы я... уверовал в вас, на основании чего?... О, мой бог!

Надзиратель, кажется, испугался. Он приблизился к лежащему, наклонился к нему.

– Эй, узник, о чём это ты говоришь? Я что, убил тебя?

– Да.

– Но как же это... Постой, постой... Эй, узник, не умирай! Не умирай, говорю я тебе, скотина! Слышишь? Можешь называть меня тюремщиком, только не умирай.

Узник больше не отвечал. Он так и лежал с накрытой руками головой. На запястьях его уже прорастали и расцветали синяками красные пятна от ударов.

Приход ангела всегда сопровождался этим звуком – будто песок шуршит и скрипит между вдруг проснувшимися ожившими камнями. Будто кто-то ступает по этому песку и бубнит что-то себе под нос. Будто следом за путником ползут по песку десяток-другой самых разных змей – то ли привлечённых произносимым заклятием, то ли запахом добычи. И наконец, следом за змеями два человека катят бочку, наполненную камнями. Видимо, этот последний звук – бочки – возникал, когда стена за спиной ангела снова смыкалась, как смыкается вода вслед за телом человека, выбравшегося на берег (если он живой) или выброшенного на этот берег (если тело мертво). Вот и сейчас все эти звуки отшумели и истаяли, словно ангел родился непосредственно из них, из этих звуков, а не вышел из стены. Надзиратель, давно привыкший к подобным появлениям, тем не менее вздрогнул и растерянно отступил к двери, закрывая сыну, который во все глаза смотрел на происходящее, сцену с этим самым происходящим.

– Ангел! – простонал он с такой болью, словно это его, а не узника минуту назад избили до полусмерти. – Ангел, ты пришёл *за ним*?

Ангел оторвал взгляд от лежащего тела, молча уставился на надзирателя.

Крупное лицо его было красиво, но совсем не ангельской, а какой-то мужицкой, брутальной, красотой. Длинные чёрные волосы (странно, ведь у ангела волосы должны быть светлые, золотистые) будто мокрые спадали на плечи густыми прядями и поблёскивали в тусклом свете рано проступившей сединой. Чёрные глаза его смотрели прямо и твёрдо, но как-то будто бессмысленно или с бесконечной усталостью от всего. За спиной чуть колыхались при каждом движении большие, белые с чёрным, крылья. Руки, сложенные на груди и серое (почему, интересно, серое?) длинное одеяние довершали картину чего-то строгого и безмолвного как вечность.

– Он что, правда умер? – нерешительно спросил надзиратель. – И ты отведёшь его в рай? В рай?! Вот этого? Этого преступника? Убийцу?

Ангел ничего не ответил. Он молча приблизился к телу, присел над ним, чтобы пощупать пульс под внимательными взглядами надзирателя и его сына. Потом выпрямился, пожал плечами и молча исчез в стене.

Шорох, скрип, шипение змей, чей-то кашель... Тишина.

– А-а, так он жив, значит, – с облегчением выдохнул надзиратель. – Слава богу!

– Слава, – простонал узник.

– Вставай, скотина, чего развалился! – прикрикнул надзиратель. – И попробуй только ещё раз назвать меня тюремщиком.

Кряхтя и с выражением невыносимой муки на лице узник кое-как поднялся. Теперь он стоял на коленях, а надзиратель и сын обстреливали его критическими взглядами. По лицу надзирателя было видно, что он безмерно рад тому, что всё завершилось благополучно. «Жив! – ликовал его взгляд. – Жив!»

– То-то же, узник, – улыбнулся он.

– Я только хотел узнать, господин... надзиратель, идёт ли на улице дождь, – произнёс узник, словно извиняясь.

– Ты этого никогда не узнаешь, узник.

– Но это важно для меня.

– Если бы это было так важно для тебя, ты просто посмотрел бы в окно, – нашёлся надзиратель.

– Оно слишком высоко, – возразил узник.

– Ты мог бы послушать, стоя под окном, – на сдавался надзиратель.

– Оно слишком высоко.

– Мог бы... – надзиратель обежал взглядом камеру, словно в поисках подсказки. – Мог бы спросить у надзирателя, наконец!

– Я и спрашивал. Но вы не сказали.

– Я?... Ах, ну да...

– Вы опять забыли, что вы надзиратель, отец, – вмешался мальчик.

– Яйца курицу не учат! – сердито обернулся к нему надзиратель, и узнику показалось на мгновение, что дубинка сейчас обрушится на голову отрока.

– Эта поговорка в данном случае неуместна, – поторопился он сказать.

– Почему же это, узник-умник? – проворно повернулся надзиратель к нему.

– Ну, видите ли, поговорка «яйца курицу не учат» говорится в случаях, когда...

– А мне плевать! – сердито перебил тюремщик. – Плевать, понятно? Здесь я решаю, что и когда говорится, понятно тебе, узник?

– О да, конечно! – отвечал тот, смиренно опуская глаза.

Надзиратель довольно кивнул, лицо его подобрело.

– То-то же... – произнёс он. – Жалобы, пожелания?

– Д-да... – нерешительно выдавил узник. – Пожалуй, да...

– Что? – усмехнулся тюремщик. – Что ты мямлишь?

Собраться с духом, узник! Нужно собраться с духом, вспомнить наконец-то, что ты тоже человек, что ты тоже имеешь право. «Ты имеешь право не иметь прав!» – тут же вспомнилось ему любимое выражение надзирателя. Но как же? Ведь пожизненное заключение ещё не влечёт за собой утрату человечности!

– Наверное, да. Да. Конечно, да, – произнёс он, скрепя сердце.

– Говори понятней, скотина! – в нетерпении прикрикнул тюремщик.

– Да, есть. У меня есть жалоба, господин надзиратель.

– Меня это не касается, – покачал головой тюремщик. – Рассмотрением жалоб занимается начальник тюрьмы. А на что ты хочешь жаловаться? На плохое содержание? Или, может быть, на плохое питание? Или, быть может, на меня?

– Да.

– Что?

– На вас, – произнёс узник, бледнея.

– На кого это?

– На вас.

– На кого? Скажи как полагается.

– На господина... надзирателя.

– Хм... Надзирателя... Хм... А разве я не господин тюремщик? – лукаво спросил надзиратель.

Узник растерялся. Казалось бы, у него было достаточно времени, чтобы привыкнуть к надзирательским уловкам, но сейчас он растерялся.

– Но... но как же... – пробормотал он, – вы же...

– А?! Что?! – надзиратель даже сделал шаг ближе и наклонился, прикладывая ладонь к уху, всем своим видом давая понять, что не слышит.

Узник на всякий случай прикрыл голову рукой – кто знает, быть может, сейчас его опять станут бить.

– Думаю, что нет, – отозвался он, зажмуриваясь.

– А вот думать-то тебе и не следует, узник, – усмехнулся тюремщик. – Тебе следует отбывать наказание, а не думать. Понятно?

– Да, господин надзиратель.

– Ну что ж... Давай, жалуйся.

– Я должен пожаловаться господину начальнику тюрьмы.

– Должен? – удивился тюремщик. – Кто же это тебя обязал?

– Никто. Просто – так говорится, такой речевой оборот.

– Ну, раз оборот, значит, давай, жалуйся.

– Господину начальнику тюрьмы.

– Ну?

– А вы – господин надзиратель.

– Вы опять забыли, что вы надзиратель, отец, – произнёс от двери сын тюремщика.

– Тьфу! – рассердился надзиратель на это замечание. – Верно, забыл. Принеси-ка лучше мне лист бумаги и перо, шенок, чем умничать здесь и делать старшим замечания.

– У меня нет пера, отец. Только ручка, – пожал плечами сын.

– Болван! – разъярился надзиратель. – Принеси лист бумаги и ручку, я сказал.

Что приятно в этом человеке, подумал узник, это то, что лицо его всегда остаётся добрым. Даже когда он со всей очевидностью гневается, лицо его всё равно остаётся добрым и даже ласковым. И чем больше он сердится, тем, кажется, ласковей становится его лицо.

Из коридора вернулся сын надзирателя, молча и робко протянул отцу ручку и листок бумаги в клетку, вырванный, видимо, из его ученической тетради.

– Ну, и что ты мне это суёшь? – недовольно спросил тюремщик. – Отдай узнику.

Мальчишка подошёл к заключённому, который кое-как, со стонами, поднялся с затекших колен, и вручил ему эти нехитрые принадлежности для письма. Узник подошёл к табурету возле тумбочки и, ни слова не говоря, размашисто написал на листе: «Жалоба». Дальше дело не пошло, и он принялся грызть ручку, даже не подумав о том, что это не его ручка и что сын надзирателя, быть может, тоже её грыз или захочет погрызть потом и что таким образом он нарушил самые элементарные правила гигиены.

Надзиратель приблизился и встал за плечом узника. Шевеля губами, он прочёл тихим шёпотом: «Жалоба». И нетерпеливо произнёс:

– Ну?

Тогда узник, словно подстёгнутый, вдруг сразу обрёл ясность мысли и чёткость слога, и перо его (вернее, шариковая ручка сына надзирателя) побежало по бумаге. Надзиратель, не поспевая, двинулся следом:

– Имею сообщить... – шептал он, – господин надзиратель... Эка ты, а разве «притеснения» пишутся не через «тис»? Тиснуть, притиснуть, нет?... Что ж ты пишешь-то, сволочь?! – произнёс он через пару минут уже в голос. – Когда это картошка была гнилая?... Муха? При чём тут муха?... Избиения?... Хм... Всё?... Число, подпись. Сегодня семнадцатое. Кажется. Да наверняка семнадцатое... Угу. Угу. Сложи как следует, не понесу же я господину начальнику тюрьмы такую портянку... Вот так, да... не мни, не мни.

Аккуратно сложив листок вчетверо, узник протянул его надзирателю вместе с ручкой.

– Что это ты мне суёшь, узник? – оторопело спросил тот и даже отстранился, словно листок бумаги мог обжечь ему руку.

– Письмо, – робко отвечал узник.

– Письмо? Да ты совсем обнаглел! Я что, по-твоему, почтальон?

– Это письмо господину начальнику тюрьмы, – пояснил узник.

– Вот как? Господину начальнику? Прямо в руки? А что там написано? Небось, кляузничаете на плохое содержание, сволочь?

– Это жалоба на господина надзирателя, – смиренно объяснил узник.

Раскачиваясь с пятки на носок и поглядывая на узника с подозрением, надзиратель самодовольно проговорил:

– Интересно, узник, интересно... Значит, ты решил пожаловаться на меня господину начальнику тюрьмы... Ну-ну... И ты думаешь, он поверит во всю эту писанину?

– Надеюсь. Надеюсь, господин начальник услышит глас вопиющего в пустыне и...

– В пустыне? Где ты нашёл пустыню? На что ты намекаешь, узник?

– Я хотел сказать...

– Так надо было и говорить, что хотел, а не нести ахинею. Зачем ты суёшь мне эту бумажку?

– Будьте любезны, передайте моё письмо господину начальнику тюрьмы. Пожалуйста.

Усмехнувшись, надзиратель взял наконец письмо, повертел его в руках, хмыкнул, произнёс задумчиво и с сомнением:

– Не знаю... Господин начальник человек занятой, очень занятой... Даже не знаю, удастся ли ему выкроить минутку, чтобы прочесть твои каракули... Ну да моё дело маленькое, я передам.

Строго взглянув напоследок, он повернулся на каблуках и вышел, попутно отвесив сыну подзатыльник и всучив ему ручку. Дверь с грохотом закрылась, лягнув засов.

Оставшись один, узник нерешительно поднялся с табурета и подошёл к стеллажу с книгами. Сняв с полки фотопортрет женщины, долго и отрешённо смотрел на него. В уголках его воспалённых глаз медленно накопились и скользнули по щёкам две мутные слезы. На цементном полу они тут же потерялись в грязи, а больше слёз не было.

№2

Он лежал на топчане и читал книгу. Это был Иероним фон Лидовиц с его «Размышлениями о пустоте» – книгой ужасной, опустошающей, убивающей всякую надежду, топчущей мечты, низвергающей душу в адские бездны. Он ненавидел фон Лидовица. И любил его бесконечно и бездумно, как любит отца карапуз, как любит своего гениального учителя способный ученик, как бездумно и слепо любит своего бога бесконечно в него верующий.

Стукнул засов, зашуршав, отворилась дверь. На пороге возникла дочь надзирателя. Совсем ещё молодая, лет двадцати двух-трёх, в длинном платье, поверх которого надет давно нестираный посеревший передник. Сколько узник её знал, это была странная девушка – то бесконечно скромная и тихая, то вдруг разбитная «огонь-девка». Простоватое румяное лицо, но на этом открытом лице деревенщины горящие умом и хитростью глаза жрицы любви.

Узник бросил на девушку равнодушный взгляд и снова погрузился в чтение.

– Здравствуйте, узник, – поздоровалась она.

– Здравствуйте, госпожа дочь надзирателя, – отозвался он, не отрываясь от чтения, или делая вид, что чтение безмерно увлекает его. На самом деле, надо сказать, фон Лидовиц не очень прочно завладевал его вниманием – это достаточно скучный автор даже для одиночества пожизненного заключения.

Дочь надзирателя прикрыла за собой дверь, и принялась прохаживаться по камере, осматриваясь так, будто видела её обстановку в первый раз. На самом же деле она бывала тут по три раза в день, а то и чаще – на ней лежала обязанность приносить еду и убирать в камере.

– Какой нехороший тут воздух, – говорила она. – И пыль, смотрите, пыль. Вы что же, никогда не убираетесь? Я принесу вам тряпку, будете стирать пыль – всё занятие вам какое-то, не так скучно.

– У меня была муха, но... – узник оторвался от книги, жалобно посмотрел на девушку.

– Сегодня на обед горох, – известила та, словно не слыша его.

– Горох?

– Горох.

– Опять горох... Интересно, идёт ли на улице дождь?

Девушка остановилась перед стеллажом с книгами, принялась перебирать их, водить по корешкам пальцем, словно проверяя, сколько на них осело пыли. Взяла в руку фотопортрет женщины и долго смотрела в неживые глаза, выхваченные когда-то и где-то объективом.

– Вы должны сжечь эту фотографию, – сказала она после недолгого созерцания.

Узник, который уже решил было вернуться к чтению, от неожиданности сел на лежаке и удивлённо уставился на свою гостью.

– Сжечь фотографию? – спросил он напряжённым шёпотом. – Почему сжечь?

– Ну, вы ведь осуждены пожизненно, – принялась она объяснять с выражением любопытства на лице. – А это же значит почти тоже самое, что мертвы, так ведь? Вот я и говорю: не нужно брать с собой в смерть боли из прошлого, нужно освободиться от ворванья былого и жить будущим. Ведь не потащите же вы эту фотографию с собой в ад, правда? Зачем же вы терзаетесь прошлым – давними горестями, страданиями, несбывшимися надеждами? И если даже эта фотография напоминает вам о счастливых минутах, то ведь это всё равно страдание для вас – оттого, что счастье больше уж никогда не повторится... Сожгите её.

– Нет, я не могу этого сделать, – замотал головой узник, с удивлением слушавший монолог девушки.

– Ну, тогда сделаю я, – решительно произнесла она, доставая из кармана передника спички.

– Нет! – Узник подскочил и бросился к ней, протягивая руки, словно хотел выхватить фото. – Нет!– Он и в самом деле довольно дерзко вырвал из рук у девушки фотографию. – Умоляю вас, не надо, пожалуйста.

– Это ваша жена? – улыбнулась девушка. Кажется, она нисколько не испугалась.

– Нет.

– Наверное, сестра?

– С чего вы взяли? Нет, не сестра.

– Хм... – она дёрнула плечом, бросила на узника осуждающий взгляд. – Ну, значит, любовница.

– У меня нет любовницы, – покачал головой узник, с тоской глядя на фотографию.

– Так кто же это тогда? – подняла брови она.

– Почём я знаю, – отозвался он. – Какая-то женщина.

– Расскажите мне о ней, – потребовала дочь надзирателя.

Узник некоторое время удивлённо смотрел на девушку, сталкивался с её строгим и почти равнодушным взглядом, не в силах проникнуть через туннели глаз в прячущуюся за ними душу.

– Это какая-то женщина, – наконец выговорил он отрешённо. – Да, какая-то женщина. Её как-то зовут. У неё есть работа. Какая-то работа, которую она очень любит. Фотография этой женщины стоит у меня на полке. Эта женщина не сидит в тюрьме. Но почти что сидит, потому что её фотография стоит у меня на полке в то время как я сижу в тюрьме. Ей не нравится моя камера – эти стены, унитаз, это зловоние и... она терпеть не может горох, да, она ненавидит горох. Вот.

Он вдруг порывисто схватил дочь надзирателя за руку (но девушка и в этот раз не испугалась – видимо, она уже хорошо знала безобидный характер узника) и торопливо, сбивчиво заговорил:

– Как забавно, вы не находите? Своими вопросами вы отвели женщине – женщине вообще, а не конкретно вот этой женщине – как бы три ипостаси, только три: жена, сестра, любовница. Ну, по понятным причинам вы не предположили ещё мать, бабушку, тётю, дочь и других возможных родственниц, не подходящих к фотографии по возрасту. Забавно, правда? И как интересно! Женщина – это всегда родственница, родственница мужчины, она является кем-то, но этим кем-то она всегда является только по отношению к мужчине, только рядом с ним, только по отношению к нему, не сама по себе, потому что сама по себе она, очевидно, ничего не значит – она ничто, ноль, пустота... Подождите, подождите... Какие бездны философской мысли можно вынести из этого небольшого тезиса, что там фон Лидовиц!

Девушка в продолжение этого воспалённого монолога пыталась вырвать у него свою руку – сначала потихоньку и невзначай, потом всё более требовательно. Наконец она не выдержала и с силой вырвала запястье из пальцев узника.

– Будь вы прокляты, что ж вы так вцепились-то! – раздражённо и почти зло воскликнула она. – У меня же синяк будет.

– Простите, простите бога ради, – испуганно отстранился от неё он. – Только не говорите папеньке, умоляю вас.

– Бойтесь? – уже беззлобно, но с превосходством усмехнулась она.

– Ваш папенька очень строг с заключёнными.

– Да, он суровый мужчина. Особенно с нарушителями закона. Но вообще он очень добрый.

– Добрый?.. Ну, возможно, пожалуй. Во всяком случае, лицо у него действительно очень доброе. А вы, наверное, очень любите его и...

– Люблю? – не дослушала она. – Да я его ненавижу!

– Ах, вот оно как! – осёкся узник, бледнея от неожиданного признания собеседницы. – Впрочем, я признаться, тоже, – добавил он, бледнея ещё больше – теперь уже от ужаса.

– А вы-то за что? – удивилась девушка.

Он двинулся ответить, но тут же замотал головой, запрещая себе говорить. Преодолев наконец желание высказаться, затолкав слова обратно в горло, он произнёс порывисто, на выдохе:

– Бога ради, умоляю, скажите, идёт ли на улице дождь?

Дочь надзирателя, кажется, растерялась от такой неожиданной перемены.

– Дождь? – произнесла она. – Дождь... Я не знаю. Может быть, идёт. А может быть, и нет. Я не знаю.

– Не знаете? – растерянно выдохнул узник.

– Не знаю. Я не выхожу из тюрьмы. Никто не выходит из этой тюрьмы.

– Никто? Совсем никто?

– Никто.

– Ни... никогда?

– Никогда.

Он обессиленно рухнул на диван, закрывая лицо руками, простонал:

– О боже, боже! Какая му́ка! Мука. Мука... Му-ка... Мука – муха... Муха... – И, снова схватив девушку за руку: – Мне нужна муха!

– Я же приносила вам муху, – возразила она, отнимая руку.

– Да, но... она... она умерла. Внезапно умерла. Наверное, она болела. Да, по её полёту последнее время было видно, что эта муха тяжело больна. И у неё были такие грустные глаза... Безвольные крылья... Крылья, утратившие волю к полёту, стремление к выси, порыв... Мне нужна новая муха, слышите?

– Вот как... – напряглась она. – Ну, я не знаю. Здесь очень строгие порядки. Если господин начальник тюрьмы узнает, что я принесла вам муху...

– А мы ему не скажем, – заговорщически прошептал узник.

– Он может догадаться.

– Умоляю!

– Хорошо, хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Сейчас я принесу вам обед, а потом посмотрю, как можно будет извернуться с мухой. Но предупреждаю вас: если начальник тюрьмы узнает, я всё свалю на вас, я скажу, что вы силой, под угрозой изнасилования заставили меня принести вам её.

– Вот как... – вздрогнул узник при слове «изнасилование». – Ну что ж...

– Вы слышали, что я сказала? Под угрозой из-на-си-ло-ва-ни-я... Понятно?

– Да, – растерянно кивнул узник. – Да, я понимаю.

– Точно – понимаете? – настаивала дочь надзирателя.

– О боже, боже! – вскричал узник. – Голова раскалывается от всех этих интриг, намёков, испарений, побоев... Наверное, на улице идёт дождь. Я ужасно метеозависим. Вы метеозависимы, госпожа дочь надзирателя?

– Да откуда мне знать, – пожалла девушка плечом и, повернувшись уходить, сурово напомнила: – Не забудьте, что я вам сказала. Да, и сожгите эту проклятую фотографию.

Не дожидаясь ответа, она вышла из камеры. Как язык гильотины лязгнул засов, отрезая голову свободе.

Узник некоторое время смотрел на фотопортрет женщины, потом задумчиво поставил его обратно на полку. И снова снял и смотрел, словно терзаясь сомнениями. Потом опять возвратил фотографию на полку, улёгся на топчан, взял книгу. Он пытался читать, но фон Лидовиц не в силах был отвлечь его от действительности, и, пролежав минуту, узник снова

поднялся и подошёл к стеллажу. Снял фотографию с полки и долго смотрел на неё. «Нет, – выдохнул он наконец. – Нет! Только не это...»

Заскрежетал вынимаемый засов, дверь открылась. Явилась дочь надзирателя, но теперь не одна, а в сопровождении своей матери – половатой женщины, одетой точно так же, как и дочь, только с добавлением не самого свежего чепца на голове. Одна несла кастрюлю и кружку, другая – тарелку с ложкой и чайник.

Услышав стук засова, узник торопливо поставил фотографию на место и прыгнул на топчан, делая вид, что читает. Потом быстро поднялся и, схватив фотографию, положил её на полку лицом вниз. Снова метнулся к топчану и улёгся, взяв в руки книгу.

Женщины вошли и, быстро глянув на узника (жена надзирателя покачала головой: охота, мол, глаза портить при таком-то свете), принялись составлять посуду на тумбочку, открывать кастрюлю, из которой пошёл пар и запах гороховой каши, накладывать жёлтую массу в тарелку, наливать дымящийся чай. При виде кастрюли и почуяв запах еды, узник торопливо поднялся и пересел на табурет. Несмотря на неприязнь к надоевшей гороховой каше, он ожил, в движениях его появилась суетливость голодного, дорвавшегося наконец-то до еды.

– Ах, как пахнет горохом! – воскликнул он. – Мой любимый, мой обожаемый горох!

– Ага, обед прибыл, милоч, – добродушно улыбнулась жена надзирателя.

– И ваше желание, – дочь надзирателя поднесла к его лицу сжатый кулак.

– Желание? – опешил узник, с подозрением глядя на кулак у своего носа. – Пойдите...

Неужели вы...

– Тс-с-с! – шикнула девушка. – Здесь и стены имеют уши.

– Да, да, понимаю, – возбуждённо прошептал узник. – Но скорей же, скорей выпустите её! Она большая? Здоровая?

– Нет-нет, господин узник, – улыбнулась дочь надзирателя, убирая кулак за спину, – не торопитесь, она пока побудет у меня. Ведь мы же ещё не сговорились окончательно о цене.

– У меня ничего нет.

– Я смотрю, вы так и не сожгли фотографию, – с намёком произнесла девица.

– Фотографию? Нет. Видите ли, я...

– Ну что ж, – перебила девушка, – видать, не очень-то она вам и нужна.

– Напротив, она мне очень нужна, поэтому я и не сжёл.

– Да я не про фотку, – усмехнулась девица. – Я – про м...

– М?

– Му...

– Му?

– Ну про ту, которую вы просили. Видать, она не очень-то вам нужна.

– Ах, это! – спохватился узник, до которого наконец дошло, о чём говорит девушка. – Очень нужна! Вы же знаете, как она мне нужна.

– Право, и не знаю даже, кто вам дороже, – произнесла дочь надзирателя, многозначительно поглядывая на фотографию, – эта маленькая чёрненькая прелестница, или какая-то баба на бумаге.

– О боже, боже! – простонал узник, горестно пряча лицо в ладонях. – Что же делать мне? Каждый раз – выбор. Каждый раз, когда хочешь ты, боже, наказать человека, ты ставишь его перед мучительным выбором – или, или!

– Если она вам не нужна, – напирала девица, – если вы выбираете ту рожу на картоне, то... Мне только немного сжать кулак, и эта прелесть...

– Нет! – возопил узник. – Не мучьте меня, умоляю!

– Видел бы ты, голубь, – вмешалась жена надзирателя, покончив с приготовлениями к трапезе, – видел бы ты, какая она жирная! Отъелась у нас в кухне, на дармовых харчах. Это я

показала её дочке: вон ту, говорю, лови, вон ту. Господин узник, говорю, будет просто счастлив иметь такую красавицу.

– Только господин узник, кажется, предпочитает живой «му» неживую «же», – рассмеялась дочь. – Ему дороже кусок картона, ему веселей с ним, он хочет шептать ему по ночам любовные глупости.

– О боже, боже! – снова простонал узник. – Да гори оно всё огнём!

– Хорошо, договорились, – тут же подхватила девушка. – Мама, возьмите-ка эту рожу на полке.

Жена надзирателя подошла к стеллажу и взяла фотографию женщины. Посмотрев на неё с минуту и покачав головой – не понять, одобрительно или с осуждением, – протянула дочери. Та небрежно, с довольной улыбкой, спрятала фотографию в карман передника. Потом приблизилась к узнику, поднесла кулак к его лицу и разжала пальцы. Заливисто засмеялась, показывая пальцем на удивлённое лицо узника.

– Как? Где же она? – оторопело произнёс тот.

– Вы меня за дуру считаете, господин узник, – подняла брови девушка. – В надёжном месте, не волнуйтесь, жива, здорова и сыта ваша радость, дожидается расплаты.

– Расплаты? Разве я ещё не заплатил вам?

– Вот только не надо прикидываться дурачком, узник, – покачала головой дочь надзирателя. – Вы же прекрасно поняли, что я имею в виду.

– А что вы имеете в виду?

– Ты пойми, милоч, – снова возникла жена надзирателя, – ведь у тебя всё равно пожизненное, так что тебе изнасилованием больше, изнасилованием меньше – всё едино.

– Что значит больше-меньше? – оторопел узник. – Я ещё никого в своей жизни не насиловал.

– Во как! – удивлённо всплеснула руками женщина. – Никого. В твои-то годы... Святой господь вседержитель! Ну так и тем более тогда, милоч, и тем более. Жизнь-то скоро кончится, а ты в ней никого ещё не насильничал, так девственником и помрёшь.

– Но я не насильник! – возразил узник

– А чего же тогда здесь сидишь? – пригвоздила его жена надзирателя и кивнула в знак неопровержимости приведённого аргумента.

– Это... – растерялся узник, – это драма моей жизни.

– Он убийца, – пояснила дочь надзирателя матери.

– Да бог с вами, что вы такое говорите! – воскликнул заключённый. – Я никого не убивал.

– Алиментщик, поди, небось, – понимающе предположила мать.

– Я честный человек! – отчаянно воскликнул узник.

– А-а, понятно, – кивнула дочь. – Не даром же у него эта фотография стоит. Понятно. А то он мне тут в уши дует: какая-то женщина, какая-то женщина... Всё ясно.

– Не знаю, о чём вы подумали, но это совсем не то, – попытался оправдаться узник.

– Надо у отца спросить, чего он тут сидит, – сказала мать.

– Я уже спрашивала, он не знает, – пожалала плечами дочь.

– Ну, значит, так то и надобно, – подвела итог жена надзирателя.

– Вот вы, я вижу, женщина простая, добрая, – с надеждой обратился к ней узник. – Скажите же мне, идёт ли на улице дождь?

– Да почём же мне знать-то, милоч, – удивилась та неожиданному вопросу. – Я же не господь бог. Если идёт, так на то, значит, воля божья. А если не идёт, значит, так тому и должно быть.

– Давайте наконец говорить о главном, – напомнила дочь.

– О главном? – спохватился узник. – Давайте. А вы кто по убеждениям?

– Я ещё раз предлагаю поговорить о главном, – настаивала дочь. – А если нет, так мы пошли.

– В самом деле, милоч, наплюём-ка на убеждения, – подхватила мать. – А то будто нам и поговорить не о чем окромя убеждений-то.

– Сегодня вечером, вы согласны? – обратилась девушка к узнику.

– Что? – узник испуганно уставился на неё. – Побег? Нет, я законопослужный гражданин и честный человек.

– Ты милоч, смотрю, не понимаешь, или придуряешься, – лукаво улыбнулась жена надзирателя.

– Послушайте, узник... – вступила дочь, беря заключённого за руку и настойчиво заглядывая ему в глаза. – У меня будет ребёнок.

– Поздравляю! – отозвался тот.

– Это не смешно, – отмахнулась девушка. – Если отец узнает, что я беременна от пожарника, он меня убьёт.

– Он не любит пожарных? – удивился узник.

– Он не любит *пожарника*, – с нажимом отвечала дочь. – Ненавидит. Его просто трясёт от него. А моя девственность для отца – так просто фетиш.

Узник непонимающе посмотрел на неё, на носки своих тапок, на жену надзирателя.

– Вы хотите сделать аборт? – спросил он наконец.

– За аборт он меня убьёт ещё вернее, он страстный противник абортотворцев, почему, вы думаете, нас у него пятеро детей.

– Пятеро... – задумчивым эхом отозвался узник.

– Он убил свою первую жену за то, что она сделала аборт, – продолжала девушка.

– Ужас!

– Вот у нас только один выход и остался, как есть один, – сокрушённо покачала головой жена надзирателя.

– Бежать с пожарным? – предположил заключённый.

– Отсюда не сбежишь, – усмехнулась девушка.

– На тебя вся надежда, милоч, – доверительно прошептала жена надзирателя.

– Не понимаю, – покачал головой узник. Он в самом деле не понимал, чего от него хотят эти женщины.

– Ну тебе же всё равно сидеть не пересидеть, голубь, – принялась терпеливо объяснять жена надзирателя. – Тебе что так, что этак – пожизненно тут куковать. Так сделай себе приятно и нам хорошо.

– И что же я должен сделать?

– Ключик в замочек, – игриво ответила жена надзирателя, – меч в ножны, болтик в гаечку... Ну?

– Я не слесарь, я работник умственного труда.

– Чтобы детей умом делали, такого я не слыхала, – оторопело произнесла мать.

– Я тоже, – отозвался узник.

– Ну вот и славно, – обрадовалась жена надзирателя, – вот и договорились. Сегодня, стало быть, вечером и сладим дело, ага?

– Да как хотите, – пожал плечами узник. – А какое дело?

– Святая дева, пресвятая богородица, храни господь и святые твои... – вздохнула жена надзирателя и во вздохе её впервые почувствовалось то ли нетерпение, то ли досада. – Да что же это за дундук-то, ей богу! Как ты столько детей-то настрогал, если ни бельмеса в этом не смыслишь?

– Сколько? – опешил узник.

– Отвечай, охломон ты этакий, – окончательно потеряла терпение жена надзирателя, – будешь сильничать девку или нет?!

– Тише, мама, тише, – зашикала дочь надзирателя. – Вы не понимаете, узник. У меня будет ребёнок. От пожарника. Этого нельзя. А от вас – можно, если вы меня изнасилуете. Понимаете теперь? Отцу просто не к чему будет придраться. А вы получите свою радость. И не одну. Обещаю снабжать вас мухами весь срок вашего заключения, то есть пожизненно.

– Ах вот в чём дело! – простонал узник, наконец-то уразумев желание женщин. – О боже, боже! О tempora, o mores!² О трагифарс души человеческой, о горе от ума!

– Слава богу, наконец-то, – с облегчением вздохнула мать. – Ну и ладно. Теперь ешь свой обед, милоч, а то, я чай, остыло уже всё. Того и гляди отец пожалует, нагорит нам тогда всем.

– Так вы согласны, узник? – уточнила дочь.

«Что делать мне? – думал узник. – Отказаться?.. Но – мухи... И я так давно не был с женщиной... О боже, боже!»

– Вы ещё не сожгли фотографию? – обратился он к дочери надзирателя. – Покажите мне её. В последний раз. Умоляю.

Она достала из кармана передника фотографию, на вытянутой руке показала её узнику, осторожно, чтобы тот ненароком не выхватил. Через минуту достала спички и споро подожгла фото. Узник с выражением ужаса и бесконечной муки взирал на происходящее, но не делал попыток вмешаться. Когда портрет догорел, он упал лицом в ладони.

– О горе, горе! – плача, простонал он.

– Ты есть-то будешь, милоч? – спросила жена надзирателя, словно и не замечая его состояния. – Или уносить?

Спохватившись, он набросился на еду, принялся жадно пожирать остывший горох, почти не жуя, торопливо глотая, давясь и откашливаясь.

Жена надзирателя удовлетворённо кивнула и перешла к наставлениям:

– Значит, завтрава мы тебе ужин принесём, ты поешь, наберёшь сил для подвига. А как поешь, я понесу касрули, а дочка с тобой останется, ну, будто прибрать. Возьмётся она пыль протирать, тут ты начинай ходить по камере, ходить и на неё поглядывать – примеряешься, стало быть, и лихой замысел лелеешь. Господин надзиратель-то в коридоре будет сидеть на то время. Когда я выйду, он ещё спросит меня, мол, а дочка-то где. Я ему и скажу: пылюку, скажу, надо протереть, а то этот охломон грязюкой зарос уже по самые уши. Ну, ладно, скажет господин надзиратель и хлопнет меня по заду и заржёт, что твой Букефал. Но я ему подмигивать в этот раз не стану, чтобы он за мной не увязался на кухню, а то ведь не услышит, когда дочка кричать станет. Если увяжется, то опять поставит меня у печки или у мешка с картошкой и будет потешаться. Оно, конечно, ничего бы так-то, но не нынче только, а в другой раз я ему подмигну. Так вот, стало быть, ходишь ты вокруг дочки-то, ходишь и посматриваешь, как она пылюку сметает. Потом она юбку подоткнёт, чтобы, мол, полы помыть. И наклоняться будет ещё этак, и вот этак, и зад выпячивать, как последняя, – жена надзирателя даже согнулась, показывая, как будет выпячивать зад дочь. – Ага. Тут ты на неё и набросишься. Но поначалу сильно не шуми, а тихохонько тащи её на топчан, там лезь под юбку и трусы с неё сдёргивай. Ты дочка, – обратилась она к дочери, – тоже не верещи раньше времени, дай человеку потешиться над тобой, а то не поверит отец – у него, заразы, на такие дела чутьё. Если спросит потом, почему ты не орала сразу, то скажешь, что узник, мол, тебе в рот юбку затолкал, а уж потом надругивался. Тебе, милоч, в самом деле нужно будет подол ей в рот запихать. Только не сильно пихай, не глубоко, а то удушишь девку, и всё тогда насмарку пойдёт, ничего тогда не получится. Вот, стало быть. Затолкаешь ей юбку-то в рот и делай своё дело. Делать надо

² O tempora, o mores! – О времена, о нравы! (лат)

как полагается, по-человечески, а не для виду, потому как отец потом обязательно проверит, чего было и осталось ли чего в ней.

– Он же убьёт меня! – простонал узник.

– Не бойся, милоч, не убьёт, – успокоила жена надзирателя, – не имеет он такого права – его тогда господин начальник тюрьмы самого убьёт и фамилию не спросит. Да и я прибегу из кухни на шум, удержу его, если убивать примется. Ну вот, стало быть, как закончишь дело своё, так юбку она у себя изо рта вытянет и начнёт визжать. Ты сразу-то с ней не соскакивай, чтобы господин надзиратель вас при этом самом застал. А ты, дочка, когда начнёшь верещать, дай волю рукам – поцарапай мурло узнику, помолоти кулаками, но смотри, осторожно, глаза ему не выдери, а то что ж мы, нехристи какие, что ли – человек к нам с добром, а мы к нему с топором, мы ему глаза выдирать – не гоже так. Вот как отец-то ворвётся, ты узника с себя сталкивай и смотри у себя промеж ног и кричи чего-нибудь, чтобы господин надзиратель понял, что зараза в тебя всё ж таки попала. Ну и всё, а там уже как бог даст. А я через минуту здесь буду, так что ты, милоч, за жизнь свою не опасайся, хоть она тебе и не особо-то нужная, чего уж там говорить. Вот, стало быть. А теперь – с богом, дочка, давай посуду уносить будем.

Не дожидаясь, пока узник допьёт холодный уже чай, женщины принялись собирать посуду, буквально вырывая из руки узника кружку. Собрав, просеменили к двери и вышли. Снова проскрежетал и стукнул засов.

Узник остался сидеть на табурете с потеряннным видом, уставя отсутствующий взгляд на хлопья пепла, оставшиеся на полу после сожжённой фотографии. Потом взял с топчана фон Лидовица, не глядя выдрал одну страницу, свернул в кулёк, поднялся с табурета, подошёл к чернеющим лохмотьям и принялся осторожно собирать их. По щекам его текли слёзы, а из груди порой, вместе с сильным дыханием отбитых, кажется, лёгких, вырывались прерывистые всхлипы.

Он уже совсем было задремал, когда снова загремел засов, дверь открылась, и в камеру ступил надзиратель. В руке его подрагивала нетерпеливой готовностью дубинка, доброе лицо не сулило ничего хорошего, хотя при взгляде на него и нельзя было сказать, что тюремщик в гневе. Тем не менее, что-то такое было в его глазах, от чего узнику захотелось забиться в угол и трепетать.

Надзиратель же, ни слова не говоря, приблизился, встал напротив и вперил в узника долгий взгляд, в котором теперь светилось, кажется, сожаление. При этом он нервно поигрывал дубинкой.

– Сидишь, подлец? – произнёс он наконец голосом с хрипотцой, от которого узнику сразу захотелось прокашляться, будто это у него заложило горло, а не у надзирателя.

– Давно уже сижу, – тихо отвечал он, кашлянув.

– Как разговариваешь с надзирателем, скотина! – вспыхнул тюремщик. – А ну, представься как положено!

Узник с готовностью подскочил и вытянулся во фронт.

– Узник номер восемь, срок заключения пожизненный, осуществляю послеобеденный отдых, – отрапортовал он.

– Ну что, скотина, наклеузничал, да? – прищурился надзиратель снизу вверх, поскольку он был заметно ниже узника ростом – на полголовы, наверное. – Нажаловался, значит, на меня господину начальнику тюрьмы?

– Осуществил законное право всякого заключённого, – отвечал узник, не меняя торжественности голоса.

– Ну-ну... И чего ты добиваешься? А? Ты думаешь, господин начальник накажет меня? Думаешь, снимет меня с должности? Или, может быть, ты думаешь, меня самого посадят? – Он саркастически рассмеялся и продолжал: – Да господин начальник – мой лучший друг, чтобы ты знал, понятно? А? Съел?

– Коррупция? – в голосе узника прозвучало отчаяние.

– Чего?

– Рука руку моет?

– Знаешь, что мне сказал господин начальник тюрьмы? – усмехнулся тюремщик. – Он улыбнулся, похлопал меня по плечу и сказал: до чего же глуп этот узник, не так ли, господин надзиратель? И где только берут таких глупых узников, сказал он. Вот в моё время, когда я был ещё надзирателем, как вы сейчас, узники были совсем другие – это были настоящие узники. И уж если давали человеку пожизненный срок, то он с честью отсидивал его и дурацких записок начальнику тюрьмы, анонимок и кляуз не писал...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.